

В Библиотеку
Историко-Русского ин-
ститута
18 ф. 50

**В Е С Т Н И К
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О
У Н И В Е Р С И Т Е Т А**



Л Е Н И Н Г Р А Д 1 9 4 9

Проф. П. Н. Берков

А. Н. РАДИЩЕВ КАК КРИТИК

Критика не занимала большого места в литературной деятельности А. Н. Радищева. Если не считать посвященной Тредиаковскому статьи «Памятник дактилохореическому витязю, или драматикоповествовательные беседы юноши с пестуном его», остальные критические высказывания Радищева входят в качестве составной части в его «Путешествие из Петербурга в Москву» и в трактат «О человеке, его смертности и бессмертии».

И статья о Тредиаковском, и отрывки о русском стихосложении в «Путешествии», и «Слово о Ломоносове», замыкающее «Путешествие», — все небольшое по объему критическое наследие Радищева представляет интерес своей оригинальностью и глубиной. Прежде всего нужно иметь в виду, что эти на первый взгляд разрозненные высказывания составляют стройную концепцию, важность и своеобразие которой становится понятным только в том случае, если взять критическое наследие Радищева в целом.

Критические взгляды Радищева строятся на общей основе его эстетики как части его философии. В трактате «О человеке, его смертности и бессмертии»,¹ в котором с наибольшей полнотой и отчетливостью выражены взгляды Радищева, много места уделено вопросам эстетики. Его материализм (не всегда последовательный) ощущается в этих частях трактата не меньше, чем в других. Прежде всего внимание Радищева останавливает усовершенствование у человека органов чувств, которые общи у него с таковыми животных. Так, несмотря на то, что животные, например собака, обладают более острым обонянием, только человек проявляет эстетическое отношение к запахам, создав понятие «благонюх». То же самое можно сказать и о чувствах зрения и слуха. У животных звук имеет служебное, целенаправленное значение: отдалить опасность, «открыть удовлетворительное в пище» (стр. 51); только у человека звук приобретает психологическое содержание: «в человеке звук имеет тайное сопряжение с его внутренностью». У человека существует ощущение музыкальной гармонии — «благогласие». «Какое ухо, — спрашивает Радищев, — ощущает благогласие звуков, паче человеческую?». Допуская возможность ощущения птицами музыкальной гармонии (ибо «могли ли бы они петь благогласно, не чувствуя благогласия?»), он сомневается, «ощущают ли они, как человек, все страсти, которые он

¹ Полное собр. соч., т. II, изд. АН СССР; в дальнейшем ссылки даются по этому изданию, за исключением «Путешествия из Петербурга в Москву», которое цитируется по авторитетному изданию 1935 г.

един токмо на земле удобен ощущать при размерном сложении звуков?». Отсюда естественный переход у человека к созданию музыки, соединяющей осмысленные, психологически содержательные звуки в стройное целое.

То же самое произошло у человека и с зрением. В то время как некоторые птицы, например орел, обладают много более сильным и острым зрением, у человека слабость природного зрения компенсирована искусственным образом: «Кто паче его [человека] возмог вооружить свое зрение? Он его расширил почти до беспредельности. С одного конца досягает туда, куда прежде единою мыслию достигать мог; с другого превышает почти и самое воображение... Но изящность зрения человеческого наипаче состоит в созерцании соразмерностей в образах естественных. Не изящность ли зрения, изощренного искусством, произвела Аполлона Бельведерского, Венеру Медицейскую, картину Преображения, Пантеон и церковь св. Петра в Риме, и все памятники живописи и ваяния?» (стр. 52).

Но не только слух с его «благогласием» и зрение с его тяготением к созерцанию соразмерностей, но также и речь подвержена тому же закону сочетания природного дара с развившимся у человека стремлением наполнить все мыслью, содержанием: «Речь, расширяя мысленные в человеке силы, ощущает оных над собою действие и становится почти изъявлением всеислия» (стр. 53).

Также свойственно человеку больше, чем любому животному «соблюдение своего благообразия» (стр. 53). Здесь Радищев касается вопроса о наготе в искусстве и в жизни и приходит к выводу, что «привычка» и «превратность» искажают природные черты человеческой психики: «Что человеку благолепие сродно, то, с одной стороны, вообразим, что, когда он изящнейшие черты изобразить хочет, он изображает наготу. Облеки в одежду Медицейскую Венеру, она не что иное будет, как развратная жеманка европейских столиц; левая рука ее целомудреннее всех вообразимых одежд. С другой стороны, представь себе вид безобразный: волосы растерзанные, лице, испещренное жжением, колонию и краскою, уши или нос дырявые, губы разрезанные и зубы непокровенны, шея и чрево задавленные, ноги и персты сжатые. Привычка нас заставляет находить украшением то, что сами с некоторою отменою почитаем безобразностию. Итак свойственная человеку опрятность и благопристойность учили бы его сохранению своего юбраза в природном его виде, если бы превратность не учила другому» (стр. 54).

Если суммировать сказанное Радищевым по поводу внешних органов чувств и речи, то все это можно свести к двум основным моментам: к эстетическому началу («благогласие», «созерцание соразмерности», «благообразие», «благопристойность» и т. д.) и к началу одухотворенности («сопряжение мыслью»).

Но этими двумя началами не исчерпывается эстетика Радищева. Едва ли не важнейшее свойство человека, по мнению Радищева, это то, что «человек паче всех есть существо соучаствующее» (стр. 54), т. е. обладающее способностью разделять чувства других людей или проникаться разными чувствами в зависимости от окружающей обстановки. Жалость и сочувствие бедствиям всего живого как свойство человека особенно отмечают Радищевым: «Жаль видеть обезображение даже неодушевленного. Вздохнешь, видя великолепные развалины; вздохнешь, видя следы опустошения, когда огонь и сталь распростирают смерть по лугам и нивам» (стр. 54). При виде следов землетрясения «ты, если не камень, потрясешься и восплачешь» (стр. 54).

Радищев подробно останавливается на разных формах «соучастия» — страхе, печали, радости и т. п. Очевидно, он придает этому свойству человека большое значение, так как видит в нем выход человека за пределы индивидуальности в общественность. Эстетические чувства и «интеллектуализация» переживаний все же замыкаются в человеке, и человек замкнут в них. Только «соучастие» соединяет его с внешним миром и в первую очередь с социальной средой.

Перечисленные свойства человека обладают, по мысли Радищева, еще той особенностью, что все они имеют пассивный характер, человек является в данном случае только воспринимающим, испытывающим воздействие внешней среды. Активность, однако, также является свойством человека, при этом активность не в практическом смысле, а опять-таки в эстетическом. «Но знай, — обращается Радищев к человеку, — что ты не токмо существо, соучаствующее всему чувствующему, но ты есть существо подражательное» (стр. 55). И именно на этих двух свойствах человека основано, по мнению Радищева, восприятие памятников и проявлений творимого искусства: «Сие соучаствование человеку толико существенно, что на нем основал он свое увеселение, не к малой чести избрению разума человеческого служащее. Скажи, не жмет ли и тебя змий, когда ты видишь изваяние Лаокоона? Не увядает ли твое сердце, когда смотришь на Маврикия, занесшего ногу во гроб? Скажи, что чувствуешь, видя произведение Корреджия или Альбана, и что возбуждает в тебе кисть Ангелики Кауфман? Исследовал ли ты все, что в тебе происходит, когда на позорище видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира, Метастазия, Мольера и других, не исключая и нашего Сумарокова? Не тебе ли Меропа, вознесши руку, вонзить хочет в грудь кинжал? Не ты ли Зопир, когда иступленный Сеид, вооруженный сталью, на злодеяние несется? Не трепещет ли дух в тебе, когда встревоженный сновидением Ричард требует лошади? „Нет у него детей!“ размышляет во мрачногитом мщении Макбет: что мыслишь, когда он сие произносит. О, чувствительность! О, сладкое и колющее души свойство! Тобою я блажен, тобою стражду!» (стр. 55).

После этого Радищев обращается к анализу «подражательного» свойства человека. По его мнению, подражательность представляет лишь дальнейшее развитие первого свойства, «соучаствования», точнее говоря, сна «есть отрасль соучаствования» (стр. 55). Отсюда Радищев делает интересный переход от анализа явлений индивидуальной психологии к фактам психологии коллективной. Отказавшись от установления «механизма в подражании и соучаствовании» (стр. 55), он констатирует действие закона подражательности в социальной жизни, проявляющееся в усвоении человеком привычек, походки и т. п. от окружающих его людей. Подтверждение этого можно видеть в наибольшей мере «в семейственной жизни» (стр. 56), когда «не токмо дети имеют иногда привычки своих родителей или наставников, но имеют не редко их страсти». Однако закон подражательности может действовать не только в продолжение длительного времени, но и в значительно более короткие отрезки. «Подражательность, — говорит Радищев, — столь свойственна человеку, что единое мгновение оную приводит в действительность». Непосредственно вслед за только что цитированным отрывком идет одно из чрезвычайных существительных положений социальной философии Радищева — о роли волевого начала в формировании коллективной психологии. Это место очень важно. Указав на способность людей одновременно проявлять подражательность, Радищев пишет: «На сем свойстве человека основывали многие управление толпы многочисленныя» (стр. 56),

и приводит затем примеры из истории, свидетельствующие о роли волевого воздействия.

Из только что приведенного положения Радищев делает два существеннейшие вывода: о роли законодателя, философа, писателя в процессе народной жизни и о мысли как начале, в известной мере парализующем пассивную «подражательность». «Мысль, — говорит Радищев о человеке, — есть наисвойственнейшее качество его» (стр. 59).

Однако Радищев далек от идеалистического толкования принципа воли и интеллекта. Он признает прежде всего влияние материальных начал на человека: «Все действует на человека. Пища его и питье, внешняя стужа и теплота, воздух, служащий к дыханию нашему (а сей сколь много имеет составляющих его частей), электрическая и магнитная силы, даже самый свет. Все действует на наше тело, все движется в нем» (стр. 62—63). Но влияние окружающей материальной среды сказывается не только на «чувственности», но и на «мысленности». «Наипаче действие естественности явно становится, — говорит Радищев, — в человеческом воображении, и сие следует в начале своем всегда внешним влияниям. Если бы здесь место было делать пространственные сравнения, то бы в пример списал некоторые места из Гюлистан Саадиева, из европейских и арабских, мне известных, стихотворцев, что-либо из Омира и Оссиана. Различие областей, где они живали, всякому явно бы стало; увидели бы, что воображение их образовалось всегда окрест их лежащую природою. Воображение Саадиево гуляет, летает в цветящемся саду, Оссианово несется на углу древе, поверх валов. А если кто захочет сделать сравнение исповеданий и мифологии народов, в разных концах земли обитающих, то сколь воображение каждого образовалось внешностию, никто не усумнится. Индейские боги купаются в водах млечных и сахарных; Один пьет пиво из черепа разложенного врага» (стр. 64).

Радищев не остается на уровне примитивного («климатического») материализма, хотя и придает ему чрезвычайно большое значение. Еще большее воздействие оказывают на человека, по его мнению, обычаи и нравы. Так появились рыболовство, охота, скотоводство и, наконец, земледелие. Особенно велика роль последнего: оно произвело разделение земли на области и государства, явилось источником возникновения деревень и городов, изобретения «ремесла, рукоделия, торговли, устройства, законов, правления» (стр. 64). Земледелие же оказалось причиной появления собственности. Это, по мнению Радищева, было великим несчастием для людей.

До сих пор у Радищева идет изложение философии истории, отсюда же начинается попытка наметить дальнейший ход развития человеческого общества. Он полагает, что разум человеческий способен восстать против собственности, поставленной им на алтарь в качестве божества, попать обоготворенное и «преторгнуть его дыхание» (стр. 64). Этот раздел своего философского трактата Радищев заключает сентенцией: «Вот шествие разума человеческого. Так образуют его законы и правление, соделывают его блаженным или ввергают в бездну бедствий» (стр. 64).

Как ни интересны прочие разделы трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии», однако для понимания критической деятельности Радищева они не так существенны.

В «Памятнике дактилохоренческому витязю» особенное значение имеет вторая часть, озаглавленная «Апология Тилемахиды и шестистопов» (т. II, стр. 215—221). Здесь Радищев делает остроумную попытку

ответсти упреки, обращенные в XVIII в. к Тредиаковскому за его стихотворный перевод фенелоновых «Похождений Телемака», выполненный в гекзаметрах («шестистопах»). Приступая к защите Тредиаковского, Радищев прежде всего выдвигает положение, что переводчик ответствен только «за стихи», а не «за мысли» (стр. 215). Отсюда следует общее направление «апологий» Радищева. Понимая, что основные упреки Тредиаковскому вызываюся языковой беспомощностью его как переводчика, Радищев сперва указывает на пионерскую роль Тредиаковского, на то, что «по несчастью его он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей». Несчастье Тредиаковского, по мнению Радищева, состояло в том, что он был ученым, а не поэтом, что «он, будучи муж ученый, вкуса не имел» (стр. 216). Прекрасное знание античного стихосложения и преклонение перед гармоничностью классической поэзии отразилось, как утверждает Радищев, в переведенной Тредиаковским «Телемахиде». Он приводит ряд стихов из этого перевода и подвергает их анализу со стороны благозвучия («благогласия»). Так, например, стих

Та разлука была мне вместо Перунна удара

Радищев считает очень хорошим и объясняет это умелым расположением пауз («препинаний») за словами «разлука» и «мне», удачным применением вслед затем двух дактилей, из которых один содержит ударение на глухом звуке *y* и «за *y* повторительное и глухое *нна*». Наконец последнее слово, «удара», Радищев находит вполне уместным, благодаря «привскакивающему краткому *y* и падающему, раздающемуся в слухе *да* с окончанием *ра*» (стр. 216). Он полагает, что в данном стихе, кроме «числительной звонкости», т. е. кроме метрической звучности, наличествует еще звукоподражательность, «сие изящное уподобительное благогласие, коего изобильные примеры находятся в Омире, в Виргилии и во всех великих стихотворцах» (стр. 216).

Остановившись на знаменитых стихах:

Дивище мозгло, мослисто, и глухо, и немо,
и слепо,
Чудище обло, озорно, огромно, с тризвенной
и лаей.

Радищев высказывает мысль, что стихи эти «смехотворны» не из-за своего гекзаметрического состава, а «от нелепых слов *дивище мозгло*, ибо и то и другое в поэму не годится» (стр. 217). По его мнению, Тредиаковский смешон не дактилями, а отсутствием вкуса, тем, что он сделал дактили смешными. «Он, — говорит Радищев, — стихотворец, но не поит, в чем есть великая разница». Попутно Радищев высказывает любопытную точку зрения, которая связана с известными уже нам по его философскому трактату взглядами на «сопряжение» «благогласия» с мыслью. «Знаешь ли, — спрашивает он своего читателя, — верное средство узнать, стихотворен ли стих (если так изъясниться можно)? Сделай из него предложение, не исключая ни единого слова, то есть сделай из него прозу исключительную. Если в предложении твоём останется поэзия, то стих есть истинный стих», и он приводит примеры из Ломоносова и Державина. Таким образом Радищев видит поэзию в мысли, в идейном содержании, а не в выражении, в «благогласии» как таковом.

Применяя только что предложенный метод проверки поэтичности текста к «Тилемахиде», Радищев приходит к выводу, что здесь «не только стихи слабые, но и слабая проза». Происходит это, как он полагает, потому, что «самая мысль предложить Тилемака в стихи — есть неудачное нечто» (стр. 218). Как известно, Пушкин в этом вопросе занимал совершенно иную точку зрения; в «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин писал, что «любовь Третьяковского к Фенелону эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихи и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного».¹ Если сопоставить эту формулировку с радищевской, делается очевидной полемика Пушкина с приведенным выше отрывком из «Памятника дактилохорейческому витязю». Произведение это было известно Пушкину.

Возвращаясь к статье Радищева о Третьяковском, должно сказать, что почти вся она состоит из анализа отдельных стихов со стороны их благозвучия («благогласия»), «изразительной гармонии» и «вкуса». Так, по поводу стиха, содержащего слово «до звезд поднебесных», Радищев писал, что «кто бы более имел вкуса, не сказал бы: звезды поднебесные» (стр. 219). В другом месте Радищев говорит по поводу одного удачного стиха: «Кажется, все чародейство изразительной гармонии состоит в повторении единозвучной гласной, но с разными согласными» (стр. 220) и т. д. Такое построение «Апологии Тилемахиды и шестистопов» приводит к выводам, которые автор формулирует так: «Сказанного мною, кажется, уже довольно для доказательства, что в Тилемахиде находятся несколько стихов превосходных, несколько хороших, много посредственных и слабых, а нелепых столько, что счесть хотя их можно, но никто не возьмется оное сделать. Итак скажем: Тилемахида есть творение человека ученого в стихотворстве, но не имевшего о вкусе ни малого понятия» (стр. 221).

Однако скудость выводов в анализируемой статье только кажущаяся: на самом деле здесь на большом количестве примеров Радищев дал обоснованные, убедительные и поэтому весьма поучительные образцы критики художественного качества «Тилемахиды», подчеркивая в то же время, что оценка этой стороны произведения допустима только тогда, когда мы убеждены в том, что перед нами настоящее поэтическое создание, идейное, содержащее художественно выраженные мысли. Таким образом Радищев своей «Апологией Тилемахиды и шестистопов» способствовал развитию сознательного, серьезного отношения к литературе как явлению искусства, он учил ценить в поэтическом произведении художественное содержание в художественном выражении, он на конкретных примерах показывал, что нельзя ограничиваться простыми вкусовыми оценками положительного или отрицательного характера, а должно по мере возможности определять причины, основания той или иной оценки.

А. В. Луначарский в статье «Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского» писал, касаясь раннего периода развития критики у каждого народа, что критика, возникающая как первое дополнение к первым шагам литературы, больше посвященная формальным, даже больше того, языковым сторонам этой литературы, неизбежно переходит в дальнейшем в критику эстетическую и «в дальнейшем своем развитии необходимо должна выработать эстетические нормы, принципы

¹ А. С. Пушкин, Полное собр. соч., изд. 4-е, ГИХЛ, 1936, т. VI, стр. 205.

эстетического воззрения на мир и историю, на общество, на место искусства в этом обществе и литературы — в самом искусстве».¹

Сказанное А. В. Луначарским вполне подтверждается критической деятельностью Радищева. Совершенно последовательно было то, что он, наряду с формально эстетическими моментами, в своих критических высказываниях занимался более широкими вопросами, в первую очередь политическими и моральными.

В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев несколько раз придает своему изложению форму критической статьи и при этом затрагивает ряд существенных вопросов, политических и этических. Так, глава «Тверь» посвящена, на первый взгляд, проблемам стихосложения. Радищев останавливается в ней как будто, по крайней мере сначала, только на сопоставлении отдельных стихотворных размеров, но затем незаметно переходит к тому, что представляет по существу политическую и моральную интерпретацию литературного произведения. Говоря в начале главы «Тверь» о различных стихотворных размерах и выступая против «засилья» ямба, Радищев заставляет одного из героев своего произведения выступить против ямба. Этот персонаж после энергичного отпора ямба неожиданно сообщает, что «и сам заразительному последовал примеру, и сочинял стихи ямбами, но, — прибавляет он, — то были оды». Вслед за тем приводится ряд строф оды Радищева «Вольность» в сопровождении комментария. Эти истолкования образуют в целом интересную критическую статью: хотя она и имеет определенное назначение в композиции «Путешествия», однако может рассматриваться и вне этой структурной зависимости как образец автокритики, едва ли не первой в русской литературе.

Критический анализ своей оды Радищев начинает с указания на то, что будто в Москве ее автору было отказано в цензурном разрешении, во-первых, потому, что «смысл в стихах неясен», и, во-вторых, потому, что «предмет стихов несвойствен нашей земле». Вся последующая часть главы «Тверь» представляет как бы раскрытие «неясного смысла» стихов, с одной стороны, и доказательство того, что «предмет» их не представляет чего-то чуждого русской жизни.

Статья Радищева (будем условно так называть главу «Тверь») состоит из комментария, больших выдержек из оды и сжатого изложения опускаемых строф. В результате смысл произведения и актуальность его темы становятся очевидными. Перед нами образец критического разбора, ставящего себе целью не указание эстетических, формальных достижений или недостатков анализируемого произведения, а раскрытие его идейного содержания, его замысла и реального значения.

Любопытны отдельные подробности. Так, приступая к анализу, Радищев заставляет воображаемого автора жаловаться путешественнику, что «за одно название» — «Вольность» — ему было отказано в издании оды, и тут же сослаться на некогда пропагандировавшийся, а затем замалчивавшийся Екатериной «Наказ»: «Но я очень помню, что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: „Вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам“. Следственно, — продолжает воображаемый автор оды, — о вольности у нас говорить вместе [т. е. разрешено]» («Путешествие», автотипич. издание, стр. 355—356).

К строфе первой «автор» делает два примечания — одно полуфор-

мальное, полуйдеологическое, другое — чисто идеологическое. В первом случае речь идет о стихе

Во свет рабства тьму претвори.

По поводу него, по словам «автора», делали возражения со стороны эвфонической, указывая на многократное повторение звука *t* и на большое скопление согласных в середине стиха: «бства тьму претв, на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском». Против этого возражения «автора» приводит мнение других читателей, признававших «стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия» (ср. выказывания Радищева в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» о «изразительной гармонии»).

Интереснее многозначительная недоговоренность при истолковании других двух стихов первой строфы, представляющих обращение к «вольности»:

...да смутятся
От гласа твоего царя.

«Желать смятения царю, — говорит „автор“, — есть то же, что желать ему зла; следовательно...». Эта незаконченность фразы недвусмысленно говорит о том, что автор оды действительно ставит себе предполагаемую цель. Поэтому Радищев заставляет «автора» неожиданно оборвать свой критический разбор и со словами «но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными; многие, признаюсь, из них были справедливы» перейти к последовательному цитированию отдельных стрóf и сжато изложению пропускаемых.

Таким образом в этой критической статье Радищев практически применил ряд теоретических положений, высказанных им в философском трактате. Подобно тому как в трактате он показал диалектику развития собственности, так в изложении оды «Вольность» Радищев подчеркивает: «Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство», а в дальнейшем из рабства революция («Путешествие», стр. 368—369).

Столь же значительным образом критической деятельности Радищева является его «Слово о Ломоносове», заключающее «Путешествие из Петербурга в Москву» и представляющее замаскированное подведение итога всего «Путешествия». Но, выполняя такую служебную роль, «Слово о Ломоносове», подобно главе «Тверь», только что рассмотренной нами, имеет и самостоятельное значение.

В «Слове о Ломоносове» Радищев делает опыт решения давно занимавшей его проблемы — соотношения индивидуального и коллективного, единичного и общего. Для него Ломоносов представляет интерес как первый деятель новой русской литературы: «В просторном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се, врата отверзающ к ристалпцу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый» (стр. 444).

Но не хронологический момент играет роль в оценке Радищевым деятельности Ломоносова; его больше всего волнует вопрос о первенстве как начале определенной и целеустремленной линии развития. Решая вопрос об источниках индивидуального действия всякого великого человека, Радищев на примере Ломоносова показывает, насколько далек он в данном случае от имевших еще в то время широкое хождение теорий божонзбранности, провиденциализма и т. д.: «Прияв от природы право нецененное действовать на своих современников, прияв от нее силу тво-

рения, поверженный в среду народных толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие во все точки окружности, деятельность свою присну [постоянной] везде соделают. Тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразными отверзал общему уму стези на познании» (стр. 441—442).

Деятельность Ломоносова, однако, Радищев рассматривает лишь «в доказательство с другими купно», что, «когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одною тропинкою, но многими стезями вдруг» (стр. 435). Надо полагать, что мысль о том, что «народ единожды к усовершенствованию направлен», не развитая в данном отрывке, связана с кругом радищевских размышлений об историческом пути русского народа.

Выше было показано, что при рассмотрении деятельности Ломоносова Радищев останавливался на механизме воздействия личности на общество, народ. Повидимому, здесь он имел в виду те законы «соучастия» и «подражательности», которые были подробно охарактеризованы им в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии». Впрочем, следует указать, что в «Путешествии» Радищев не называет этих законов и что, может быть, в то время, когда создавалось «Слово о Ломоносове», ему самому был еще неясен переход от индивидуальной психологии к коллективной — ведь философский трактат был написан, по крайней мере отредактирован, позднее, — уже в Илимске. В «Слове о Ломоносове» есть следы того, что проблема перехода, проблема воздействия еще не была полностью уяснена автором. Это видно из того места «Слова», где Радищев после цитированной выше фразы, что «прославиться всяк может подвигами, но ты был первый» (стр. 444), пишет: «Самому всесильному нельзя отнять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя». Но понятие «вождь» Радищев принимает как исторически необходимое звено в развитии определенного народа.

После тезиса «слава твоя есть слава вождя» Радищев обращается к той проблеме перехода, о которой уже упоминалось: «О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души, и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание». Трудной задачей Радищев называет определение действия души на душу, связи между умами. Его привлекает вопрос, «как неосязаемое [душа, ум] действует на неосязаемое, производя вещественность, или какое между безвещественностей есть прикосновение». Радищев понимает, что при тогдашнем состоянии науки можно было только констатировать самый факт «действия безвещественностей», но не объяснить его. «Что оно существует, то знаете, — пишет он и продолжает. — Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа» (стр. 445). И далее Радищев поясняет эту свою мысль указанием на то, что Ломоносов произвел Сумарокова.

Такова первая, общетеоретическая линия «Слова о Ломоносове»; проблема вождя и народа, гения и массы — вот, что составляет смысл этой стороны критической статьи Радищева. Для него «проблема Ломоносова» в этом аспекте есть проблема всякого — научного, художественного, политического — пионерства. Говоря о Ломоносове, он постепенно переходит к очень широким и важным обобщениям, к тем именно, которые заставили его поместить «Слово о Ломоносове» в конце

«Путешествия». Формулируя цель своей статьи применительно к Ломоносову: («мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первой виновник в приобретении славы, хотя бы он войти в храм не мог»), Радищев словно в подтверждение сказанного обращается к примеру Бэкона, а затем подходит вплотную к тому, что является одновременно и самооценкой и центральной мыслью «Слова о Ломоносове» и всего «Путешествия»: «Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилне, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения?». Так переплетается конкретная цель «Слова о Ломоносове» с теоретической задачей всей книги — призвать к революции и по достоинству оценить роль пионеров идеи народного восстания. Поэтому и имеет двуплановый характер заключительная часть «Слова», в которой Радищев изображает миротворение. Дав картину мира «прежде начатия времен» и нарисовав первый толчок «руки всемогущей», Радищев продолжает: «Первый мах в творении все-силен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как я понимаю действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом». Нет сомнения, что сказанное только что Радищев относил к «мужественным писателям, восстающим на губительство и всесилне», но для соблюдения цензурной конспирации он немедленно прибавляет: «В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно» (стр. 452—453).

Однако, кроме общетеоретической линии, в «Слове о Ломоносове» Радищевым проведена и непосредственно критическая, представляющая оценку Ломоносова как личности, как ученого и как поэта. Для истории русской критики эта, вторая, сторона «Слова» не менее существенна, поскольку эта статья является одной из первых работ подобного рода.

Биографическая и собственно критическая тема переплетаются в «Слове о Ломоносове» весьма искусно. Создается впечатление, что автор сознательно и намеренно не разделяет эти два элемента и делает это с целью уравновесить похвалами литературной деятельности Ломоносова укоры, обращенные к его биографии. И в этом отношении прав герой пушкинского «Путешествия из Москвы в Петербург», обвиняющий Радищева в желании унижить Ломоносова, якобы «соплетая венец насадителю российского слова». Вместе с тем это обвинение не вполне объективно, как мы увидим, «унижение» Ломоносова не продиктовано каким-либо литературным озорством или желанием «прославиться яко писатель», а явилось естественным результатом философских, этических убеждений Радищева, в частности его взгляда на роль писателя как идейного вождя народа.

Уже с первых фраз своей критической статьи Радищев определяет критерий оценки Ломоносова и его деятельности. Не вся эта деятельность в целом служит основанием для признания заслуг Ломоносова, но только его философские в широком смысле труды — научные и художественные. «Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия, — говорит автор. — Слово твое, живущее присно и во веки в творениях, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий... Доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет» (стр. 420—421).

Но, определив таким образом источник славы Ломоносова, подчеркнув, правда мимоходом, в придаточном предложении, что историческое значение Ломоносова является результатом обновления им русского слова, Радищев искусно переходит затем к расчленению предмета своего критического очерка. Указав, что предшествующий отрывок был произнесен им перед памятником Ломоносова в Александро-Невской лавре, Радищев продолжает: «Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен» (стр. 421). Таким образом Радищев разграничивает «творения» Ломоносова и его «житие», его биографию.

Из всего созданного Ломоносовым Радищев полностью принимает только его литературное и научно-филологическое творчество. Там, где Ломоносов представляется автору «Слова» только «последователем», а не пионером, Радищев, отчасти под влиянием недостаточного глубокого знакомства его эпохи с подлинными заслугами гениального ученого, стачасти вследствие заранее созданной схемы — «творение» и «бытие» — с известной пристрастностью судит о деятельности Ломоносова. Правда, он с особенной силой отмечает, что в отличие от других, превозносящих хвалою силу и могущество, воспеваает «песнь заслуге к обществу» (стр. 421), но, с другой стороны, подчеркивает отсутствие субъективного подхода в своей оценке Ломоносова: «Чуждые раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в любви нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возомним быти ему богом всезидущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укорении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина, — торжественно провозглашает Радищев, имея здесь в виду, конечно, не один только предмет «Слова о Ломоносове», но и все «Путешествие», — истина есть высшее для нас божество, и если бы всеильный восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лице наше будет от него отвращенно» (стр. 448—449). Уже одни эти слова могут быть исчерпывающим ответом пушкинскому путешественнику: Радищевым никак не руководило желание уронить Ломоносова в мнении потомства. Напротив того, чувствуется, что он поставил себе совершенно четкую задачу — определить объективную историческую роль Ломоносова, как она ему представлялась: «Отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал» (стр. 451).

Поэтому, «следуя истине», т. е. сопоставляя Ломоносова с идеалом ученого, являющегося в то же время политическим деятелем или в крайней мере писателем, способствующим росту революционных идей, Радищев находит ряд уязвимых мест в деятельности того, кому «соплетает венец». Так, он особенно упрекает Ломоносова за панегирический характер его од, хотя и признает отчасти некоторые основания для этого: «Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе, ради признательных твоя души ко благодеяниям» (стр. 443—444).

Не говоря прямо, Радищев упрекает Ломоносова далее за его исторические взгляды; он говорит, что, следуя истине, не может видеть

в Ломоносове великого «деесписателя», историка, подобного республиканцу Тациту и некоторым радикальным историкам нового времени.

Радищев с явным огорчением отмечает далее, что Ломоносов не выступал как борец с самодержавием.

Кроме перечисленных упреков, Радищев считает необходимым указать на то, что свою «Риторику» Ломоносов не применил в русской социально-политической борьбе, что он не последовал примеру политических ораторов древности, как Демосфен или Цицерон, и некоторых ораторов нового времени (стр. 440).

Собственно, Радищев не признавал ораторского искусства как свода правил, способных заменить отсутствующее природное дарование. Перечислив имена античных и новых европейских политических ораторов, Радищев говорит далее: «Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения в их чувствах, сила доводов в их остроумии. Удивляясь толико отменным в слове мужам и раздробляя [анализируя] их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными [утомительными] предписаниями. Сие есть начало риторики» (стр. 440). Ломоносов, прошедший по этому пути, «предпринял, — по мнению Радищева, — тщетный в сем труд»; Радищев полагает, что «преподавание правил» излишне там, где «более чувствовать должно, нежели твердить» заучивать. В этой завуалированной, как и во многих других случаях, фразе Радищев проводит мысль о том, что предпочтительно создать естественные политические условия, при которых неизбежно возникает политическое ораторское искусство, чем создавать правила ораторского искусства. Поэтому Радищев настойчиво подчеркивает, что «красноречие его [Ломоносова] чувствительного или явного ударения не сделало», что «цветы, собранные им в Африке и в Риме и столь удачно в словах его пересаженные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего» и что «не было ему [Ломоносову] последователя в витийстве гражданском [т. е. политическом]» (стр. 446—447).

Представляет интерес в биографической части «Слова о Ломоносове» трактовка Радищевым вопроса о формировании, о становлении Ломоносова. Как известно, дворянские историки литературы и критики XVIII и начала XIX в. (Андрей Шувалов, Херасков, М. Муравьев и др.) представляли появление Ломоносова как усилие, «напряжение природы». Радищев также говорит о роли природы в биографии Ломоносова, но придает этому совершенно иной оттенок. Для него явление Ломоносова не «усилие», не «напряжение», а торжество природы над неблагоприятными социальными обстоятельствами. Он подробно, — конечно, в соответствии с тогдашним состоянием биографических сведений о Ломоносове, — излагает детство и юношество великого ученого и приходит к выводу, что «от воспитания в родительском доме» Ломоносов «приыл маловажное, но — ключ учения, знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, — продолжает Радищев, — твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей, а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих» (стр. 422—423).

Эта «подстрекающая» Ломоносова «науки алчба» (стр. 424), вместе с славолюбием, представляет, по мнению Радищева, первоначальный побудительный толчок его деятельности. Стремление применить приобретенные знания в родной обстановке, в соответствии с интересами

русской культуры было, по указанию Радищева, вторым важным побудительным принципом научного и литературного творчества Ломоносова.

Особенно значительным оказалось воздействие этого начала в области поэтического творчества Ломоносова. Изучение античных авторов приучило его к строгому, критическому отношению к поэзии и соответственно с этим отвратило от традиционного в то время силлабического стихотворства. Ломоносов «давно уже удостоверился, что стихотворение российское [т. е. силлабическое] весьма было несродно благогласию и важности языка нашего» (стр. 434). Дальнейшие занятия поэзией натолкнули Ломоносова на идею создания теории, «на благогласии нашего языка основанной» (стр. 435). Первый практический опыт Ломоносова в этом роде, — «Ода на взятие Хотина», — говорит Радищев далее, был очень удачен: «Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, — изумили читающих сие новое произведение» (стр. 435).

Далее Радищев характеризует последующую филологическую деятельность Ломоносова, теоретическую (в области грамматики общей и специально русской, риторики и т. д.) и художественную, поэтическую. Подобное сочетание, казалось бы, несовместимых начал в одном человеке, возможно, по утверждению Радищева, так как «сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей» (стр. 435). Тщательно и точно изложив воззрения Ломоносова на природу слова и охарактеризовав его грамматические и теоретико-литературные труды, Радищев сводит всю деятельность Ломоносова к следующей формуле: «Повлекши его [общий ум, т. е. умственные интересы народа] за собою во след, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при том же без мыслей истинных» (стр. 444). В этой формуле сосредоточены те основные элементы, из которых, по мнению Радищева, складываются исторические заслуги Ломоносова. Так, даже тогда, когда Радищев отрицает целесообразность риторики как самостоятельного искусства, он отмечает попутно вклад, сделанный Ломоносовым в русскую культуру в этой области: «Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать, при каждой букве, слышен стройной и согласной звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи» (стр. 441).

На проблемах ломоносовского «велеречия» или «расположения российского слова», т. е. лексического и фразеологического развития русского языка, и «благогласия», гармонии, благозвучия его Радищев останавливается подробно и неоднократно. Гораздо сдержаннее он в тех частях своей критической статьи, где ему приходится говорить об идейном содержании художественного и научного творчества Ломоносова, о его «мыслях». С сочувствием останавливается Радищев на натур-философских стихотворениях Ломоносова; строки, уделенные этим последним, может быть, удачайшие во всем «Слове» Радищева: «Воображению [Ломоносов] вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпийских играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псалмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренной, предшествуемого громом и молниею

и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел брэнность человека и близкой предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, — что есть разум человеческий? — Се ты, о, Ломоносов, одежда моя тебя не скроет!» (стр. 442—443).

Несомненно, близость теистической системы Ломоносова философским взглядам Радищева была причиной столь сочувственной оценки так называемых духовных од Ломоносова. Такою же идейной близостью обоих писателей продиктован сочувственный отзыв Радищева о начале оды 1747 г., этой «прелестной картины народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения» (стр. 444).

И все же, несмотря на благоприятный для Ломоносова в отдельных местах статьи характер оценки его идей, Радищев в итоге пришел к выводу, что потомкам нашим Ломоносов покажется «нестроен в мыслях», «неизбыточен в существенности» своих стихов (стр. 444). Иными словами, недостаточная последовательность Ломоносова в области политического мышления, отстранение его от тем, касающихся непосредственных нужд народа, его монархизм — все это заставляло Радищева говорить больше о заслугах Ломоносова в отношении «веле-речия» и «непрерывного в стихах благогласия», чем о его «мыслях».

«Слово о Ломоносове» — наиболее значительная критическая статья Радищева. Она, как видно из сопоставления ее с трактатом «О человеке, о его смертности и бессмертии», представляет итог серьезной, продуманной эстетической системы.

И, может быть, — для того есть основания достаточно веские и убедительные, — «Слово о Ломоносове» должно признать лучшим произведением русской критики XVIII в. Здесь органически сочетались социально-этическая, эстетическая и отчасти историческая точки зрения; здесь русская критика отошла далеко вперед от неизбежных на первых порах, примитивных суждений о языке, слоге, выборе слов и т. д.; здесь по-серьезному поставлен вопрос об общественной ответственности писателя, о том, что подлинно великий писатель это только такой, который связывает свою творческую деятельность с наиболее передовыми, революционными идеями своего времени.

В «Путешествии из Петербурга в Москву», составной частью которого является «Слово о Ломоносове», есть еще несколько отрывков, с известным основанием имеющих право считаться образцами критической деятельности Радищева. Такова, например, глава «Торжок» (стр. 289—340), посвященная вопросам цензуры. Здесь Радищев выступает с основательными возражениями теоретического и исторического характера против феодальных стеснений свободы печати; аргументация его логична, стройна, убедительна. Радищев умело нападает на средневековые цензурные установления и обнаруживает превосходную осведомленность в вопросах истории гонений на свободу слова.

Значительно больший интерес как собственно критическое высказывание имеют мысли Радищева о народных песнях. Вообще фольклор (песни, причитания, пословицы, духовные стихи и т. д.) занимает немало важное место в творческом арсенале Радищева, но больше в качестве «строительного материала», без особой оценки, без анализа этого материала. В одном только случае Радищев обращается к анализу народных песен как источнику для познания народной психики. В главе «София»

(стр. 6—7) «путешественник» говорит о песне своего ямщика, «по обыкновению заунывной». Это обстоятельство подает ему повод сделать несколько обобщений относительно народной песни. В «голосах», т. е. мотивах, напевах, русских народных песен, «есть нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого» (стр. 7). Это не является случайностью: «В них [в «голосах» песен] найдешь образование души нашего народа». Анализируя черты народного русского характера, «путешественник» отмечает в качестве особенно заметных — мягкость, задумчивость, т. е. отсутствие тупой покорности и равнодушия в своей и чужой судьбе; отсюда и другие черты, проявляющиеся обычно в состоянии опьянения, выводящего человека из привычной обстановки, — порывистость, отвага и «сварливость», т. е. непримиримость, неспособность безразлично относиться к возмущающим его фактам: «Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву». Этот анализ музыкальной стороны народных песен должен, по замыслу Радищева, быть ответом на пропагандировавшиеся и до него и при нем, и после него воззрения на кротость, терпение и смирение как основные черты народного русского характера. Достаточно вспомнить ответ Екатерины Фонвизину, задавшему ей в «Собеседнике» вопрос: «В чем состоит наш национальный характер?». Екатерина, как известно, отвечала: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных».¹ Под «корнем всех добродетелей» разумеется, согласно псалмам, «страх божий». Таким образом понятливость, «образцовое послушание» и «страх божий» вот, по мнению Екатерины, черты русского народного характера.

В противоположность этим «непротивленческим» характеристикам русской народной психики Радищев выделяет, подчеркивает потенциальную революционность народа: «Бурлак, идущий в кабак, повеся голову, и возвращающейся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательной в Истории Российской». Народная психика, — проводит мысль Радищев, — чревата революцией. Отсюда становится понятной несколько странная на первый взгляд фраза, идущая непосредственно вслед за характеристикой «голосов» русских песен, за указанием, что «все почти» они «суть тону мягкого». Фраза эта, повидимому, должна быть ответом лицам, подобно Екатерине сознательно фальсифицировавшим в угоду своим политическим убеждениям представления о сущности русской народной души: «На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления».

Радищев полагает, что характер правления должен соответствовать народной психологии. В дворянско-помещичьей, монархической России он этого не видит, но слова его «на сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления» нужно понимать не как совет Екатерине, а как общее положение: «умеи учреждать» значит «следует учреждать». Вообще все это место тесно связано с другим высказыванием Радищева на близкую тему. Говоря в «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» о подвигах Ермака и его сподвижников, Радищев замечает: «Здесь имеем случай отдать справедливость народному характеру. Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении — суть качества, отличающие народ российский. И если бы место было здесь на рассуждение, то бы показать можно было, что предприимчивость и ненарушимость в последовании предприятию есть и была первою причиною к успехам россиян, ибо при самой тяготе ига чуже-

¹ Соч. Фонвизина, изд. 1866 г., стр. 206.

странного сии качества в них не воздремали. О, народ, к величию и славе рожденный! Если они обращены к тебе будут на снискание всего того, что соделать может блаженство общественное!». Намек на борьбу народа за свое счастье, т. е. на революцию, здесь ясен и отчетлив.

Колоссальная эрудиция Радищева, сильная оригинальная мысль, глубоко продуманная философская система и темперамент политического борца, революционера — все эти данные в таком удачном сочетании совместились в нем, что можно сказать: критические статьи Радищева представляют одни из лучших образцов русской критики XVIII в., а может быть даже больше — вершину ее.
